

Глава LV

Американские журналисты умели удивлять, а вот лондонская погода, особенно осенью и зимой — нет: я приехала в сентябре, стояли туманы, шли дожди, и так продолжалось до самого мая. Когда я приезжала сюда в 1900 году, то жила в полуподвале; сейчас же мне выделили комнату на третьем этаже дома моей старой подруги Дорис Жук, оборудованную роскошной газовой печью, которую я топила дни напролет. Чудовищный туман глумился над моими жалкими попытками согреться и избавиться от ломоты в костях, и воспрепятствовать ему не мог даже случайно заглянувший в эти мрачные края луч солнца. Дорис же, как и ее знакомые, утверждала, что сейчас «вовсе не холодно», а просто меня избаловали «американские квартиры с паровым отоплением»: все они упорно полагали британский климат мягким и ни при каких обстоятельствах не стали бы портить свои дома котлами — ведь камины «более рациональны, более полезны для здоровья и более приятны». Я отвечала, что уже пять лет не жила в Америке и совсем забыла о том, как там хорошо; но зато побывала в Архангельске, и когда там было около пятидесяти ниже нуля, мне не было так зябко, как здесь. Они всё равно издевались, называя мои отповеди капризом — ведь от сырости у человека здоровый цвет лица, Британская империя благодаря своему климату славится на весь мир роскошной флорой, а желание убежать от собственных погод сделала англичанина самым выдающимся путешественником и колонизатором.

Вскоре я поняла, что плохое самочувствие будет докучать мне меньше всего. Нашей дружбе с лондонскими анархистами было уже много лет, и они приняли горячее участие в моих невзгодах, изъявив готовность помогать мне во всём. Да, это была наша старая, еще довоенная гвардия: Джон Тёрнер, Дорис Жук, ее брат Уильям Уэсс 89, Том Килл и Уильям Оуэн, с которым мы когда-то работали в Америке; увы, сейчас все они были разобщены, лишь Том, издававший *Freedom*, и ее редактор Оуэн поддерживали жизнь газеты и тем самым хоть как-то скрепляли местную ячейку. Впрочем, как я вскоре узнала, ни в Лондоне, ни в провинции особого движения не было; ну, а поскольку я приехала из шумного и деятельного Берлина, такое положение меня удручило — обстановка была хуже некуда. Война почти разрушила традиционный британский либерализм, и теперь в страну почти никого не впускали, особенно приверженцев передовых взглядов. Ничуть не легче было остаться, если тебя уличали в политической пропаганде: лейбористское правительство высылало людей за куда меньшие провинности — почти так же, как это раньше делали консерваторы. Мои друзья удивлялись тому, что я получила визу, и не верили, что мне удастся задержаться в стране, если я займусь политикой.

Из-за новых законов против иностранцев задыхалось и еврейское анархистское движение: любой, кто что-то пытался делать в Ист-Энде, мог быть выслан в любое время, а неразбериха в радикальных кругах, вызванная кознями Москвы, лишь усиливала нажим реакции. Либералы и радикалы, всегда вместе выступавшие против любого посягательства на политическую свободу, любой экономической несправедливости, из-за России были готовы перегрызть друг другу глотки. Старые бунтари разочаровались в революции, новое

же поколение, которое и так не особо интересовалось нашими идеями, было очаровано большевистским лоском, а интриги коммунистов еще больше способствовали этому расколу.

В общем, картина была печальная, но, несмотря на все эти напасти, я не собиралась покидать Англию, и товарищи были согласны с тем, что мое имя могло бы стать объединяющим началом. Однако насчёт последнего я больше всего и сомневалась: с чего начать? Как достучаться до народа? Единственное, что я сумела предложить, был публичный ужин в каком-нибудь ресторане в качестве дебюта перед лондонскими либералами; от этой идеи все просто пришли в восторг, тут же принявшись готовить это мероприятие.

Я написала Ребекке Уэст 90. Ответом было приглашение на обед, которое я, конечно же, приняла, приятно удивившись ее отнюдь не английским манерам: ее речь наводила на мысли о Востоке; в остальном же она оказалась жизнерадостной, энергичной, очаровательной и прямолинейной женщиной. Ее радушие, уютная комната и горячий чай после долгой поездки зябким серым осенним вечером пришлось весьма кстати. Ребекка честно призналась, что не читала моих книг, но знает обо мне достаточно, чтобы принять мое приглашение выступить на ужине; кроме того, она тоже организует вечер, на котором я смогу познакомиться с ее друзьями, и вообще я могу во всём на нее рассчитывать. Уезжала я от нее с приятным чувством обретения новой подруги — оазиса в пустыне, которой мне представлялся Лондон.

В назначенный день было пасмурно, затем начался ливень, и в ресторан я отправилась с тяжелым сердцем. Дорис старалась подбодрить меня: мол, в Англии никто не обращает внимания на погоду — я-то известна и, конечно же, соберу публику. «Ага! Скотланд-Ярд, газетчиков и, возможно, нескольких посвящённых», — отрезала я: не стоило себя обманывать — попытка зажечь Англию оказалась тщетной. «Все-таки ты неисправимая пессимистка, — засмеялась подруга. — Не могу понять: как ты боролась все эти годы?»

Когда мы добрались до отеля, бедняжка Дорис была готова лишиться чувств: к семи часам едва собралась дюжина человек; впрочем, уже в восемь она просто летала — народу в зале было под две с половиной сотни, и пришлось накрывать дополнительные столы. Публика валила даже после того, как я начала говорить, и мне было очень приятно, что столько людей пришли в такую погоду поприветствовать меня. Приветственные послания от Хэвлока Эллиса 91, Эдварда Карпентера 92, Герберта Уэллса, леди Уорвик 93, Израэла Зангвилла 94 и Генри Солта 95, воспоминания о моих былых заслугах, которыми поделились полковник Джосайя Веджвуд 96, Ребекка Уэст и Бертран Рассел 97, — всё было просто замечательно.

Разумеется, это было то самое пресловутое английское гостеприимство, о котором мне так часто рассказывал Петр Кропоткин. Но мне, наконец, нужно было найти применение своим способностям и утолить жажду деятельности; поблагодарив присутствующих, я начала рассказывать о том, зачем прибыла в Англию и чем хочу здесь заниматься. Поначалу меня слушали с одобрением, но как только я упомянула о России, все заерзали на стульях и стали оглядываться по сторонам, а на лицах появились брезгливые мины. Стало ясно, что дальше будет еще хуже, но я продолжала — необходимо было донести до аудитории причину

своего прибытия.

Я начала с того, что напомнила о русской революции 1905 года, ужасах, которые за ней последовали, и знаменитом кропоткинском «J'accuse!» 98, пробудившем радикалов и либеральные круги начать протест против самодержавия. «Вы будете ошарашены, но сейчас в России повторяется то же самое, — сказала я. — Новая власть вернулась к прежнему террору, только теперь нет Кропоткина, и некому ее обуздать. Я далеко не ровня нашему великому учителю ни по уму, ни по способностям, но решительно настроена сделать всё возможное, чтобы предать огласке ужасающую обстановку в России, — продолжала я, — и потому хочу здесь и сейчас сказать советской тирании своё собственное „J'accuse!“»

В ответ раздались аплодисменты, перемежаемые возмущёнными криками; кое-кто из присутствующих вскочил и стал требовать слова, а несколько человек наперебой заговорили прямо с мест. Суть бурного возмущения сводилась к тому, что они ни за что не поверили бы, что Эмма Гольдман, эта предводительница народных масс, объединится с тори против республики рабочих и крестьян, и не преломили бы со мной хлеба, если бы знали о моём отречении от революционного прошлого. Назревал скандал, но я слишком много вложила в этот вечер, чтобы позволить ему завершиться столь бесславно, и предложила провести митинг в Квинс-Холл, где и обсудить этот вопрос спокойно и подробно.

Лондонская пресса осветила этот ужин со всем подобающим вниманием и на удивление беспристрастно, только Herald написала о моем выступлении в уничижительном тоне. Мне рассказали, что ее редакторы Джордж Лансбери и Гамильтон Файф пришли в ярость от моего «вероломства»: они с Джорджем Слокомбом поручились за меня перед министерством внутренних дел в том, что я еду в Англию исключительно для неких исследований в Британском музее. Я ответила друзьям, что мистер Слокомб действительно помог мне с разрешением на въезд в Англию, но ни Харрис, ни я не давали ему права делать от моего имени какие-либо заявления, а что касается джентльменов из Herald, то их участие в моей судьбе стало для меня новостью. С мистером Файфом мы вообще не знакомы, а мистера Лансбери, несколько раз встреченного мной в России, я бы ни за что ни о чём не попросила — хотя бы потому, что знаю, как он относится к большевистскому государству. Впрочем, мне понятна его досада: ведь я собираюсь рассказать о том, что происходит в России, а человек, на полном серьёзе утверждающий, что в ней претворилось в жизнь учение Иисуса, не может позволить себе выглядеть смешным.

Я по-прежнему была уверена, что никакая смена правительства не влечёт за собой улучшение жизни для простых людей, и моё пребывание в Великобритании лишь усилило это убеждение: ну, не может мистер Макдональд во время своего второго срока сделать больше, чем он сделал за первый! Однако лейбористы сумели достичь кое-чего предельно важного — они признали Советское правительство. Я чрезвычайно хотела этого, ибо знала: это позволит сорвать терновый венец мученичества со лба большевизма, и тогда мировой пролетариат поймет, что советская власть слеплена из того же теста, что и любая другая; поэтому я решила не говорить о России перед выборами.

Но теперь они были позади, и никакие мои речи не могли повлиять на судьбу Независимой рабочей партии. Она проиграла из-за собственной беспомощности и неумения победить бедность и невзгоды в стране во время пребывания во власти. Поэтому я вполне могла писать для *The Times* и *London Daily News*, о чём меня уже давно просили эти газеты, что и сделала — не столько из-за стремительно таявших средств к существованию, сколько ради проведения митинга в Квинс-Холл. Увы, британские анархисты были слишком бедны и не могли дать больше пары шиллингов, а никто побогаче помочь пока не вызвался, так что я была рада заработать сорок фунтов, а заодно и выступить перед более широкой аудиторией.

Из-за выборов и наступающих праздников митинг пришлось отложить до января; к тому же все настаивали на создании комитета, в котором ради успеха задуманного дела должно было состоять довольно много народу. Меня же раздражала эта задержка, но еще больше — идея с комитетом; я рассказала друзьям о грандиозных собраниях, посвящённых контролю за рождаемостью, которые устраивал мой соратник Бен Рейтман с помощью всего нескольких товарищей, о массовых демонстрациях, проводимых Сашей, и наших с ним антивоенных протестах... Нигде у нас не было особенной поддержки; почему же в Лондоне она необходима? Друзья ответили, что в Америке мы с Сашей были хорошо известны, но в Англии всё по-другому — здесь все идет толпой, стадом, и только туда, куда скажет пастух, вне зависимости, идёт ли речь о партии, обществе или клубе. Чтобы достучаться до публики, нам нужна помощь, и Ребекка Уэст права: здесь не принято слушать лекции для просвещения — англичане посещают их исключительно в благотворительных целях.

Раньше я сотрудничала с политическими партиями лишь временно, работая на них, а не с ними, и если в Америке меня ценили, то только благодаря моей независимости; в Лондоне же я должна была просить поддержки — на этом настаивали друзья. Они наперебой твердили, что ужин обнародовал цели моего пребывания в Лондоне, а митинг проложит путь для дальнейшей деятельности; в конце концов, они лучше знали, как достучаться до британской общественности, и я смирилась, потратив две следующие недели на то, чтобы забросать письмами всех возможных членов комитета.

Увы, отклик был ничтожным — большинство даже не удосужилось ответить, а кое-кто пространно описывал сомнительные причины невозможности их участия. Мистер Зангвилл написал, что из-за плохого здоровья прекратил деятельность, да и в успех моей затеи не верит. Я могу поговорить с членами «Общества за демократический контроль», в котором состоял он сам, а также Бертран Рассел, но больше он ничего предложить не может; и вообще, ему жаль, что я поехала в Россию. Незачем было проходить такие испытания, чтобы узнать то, что ему было известно с самого начала: вся эта диктатура пролетариата на самом деле попросту тирания.

Хэвлок Эллис прислал любезную записку, в которой тоже выражал опасения: дескать, критика России сыграет на руку реакционерам. Они никогда не выступали против самодержавия, а сам он не приемлет их оппозиции большевизму, который является лишь «царизмом наизнанку»; в любом случае, ему не по душе участие в этой затее. Почтенная миссис Кобден-Сандерсон 99, старая подруга семьи Кропоткиных, боровшаяся вместе с ними против царского режима, леди Уорвик, Бертран Рассел и профессор Гарольд Ласки 100

приглашали меня переговорить, и только два человека согласились быть частью нашего комитета без всяких оговорок — Ребекка Уэст и полковник Джосайя Веджвуд. Ах, да: еще Эдвард Карпентер написал, что стар, и потому не может выходить по вечерам, но готов поддержать меня, поскольку я, он уверен в этом, защищаю свободу и справедливость.

Дома у Ребекки я познакомилась с ее коллегами по феминистскому изданию *Time and Tide*: леди Ронндой, миссис Арчдейл и доктором Летицией Фэрфилд, сестрой Ребекки. Со временем в круг моих друзей вошли и другие люди, озаботившиеся помощью женщинам-политзаключенным России, и с каждым днём он становился всё шире. Посыпались приглашения на обеды, чаепития и ужины, и все были чрезвычайно радушны, внимательны и сердечны; увы, всё это было бы очень мило, если бы я приехала в Англию только ради светских развлечений. Но ведь я прибыла с вполне определенной целью — пробудить в беспристрастных англичанах чувства, рассказав им о русском чистилище, подвигнуть их на всеобщий протест против ужасов, которые прикрывают социализмом и революцией. Однако всё это, похоже, было впустую: не то чтобы мои покровители и друзья не интересовались этим или сомневались в моих словах, но слишком уж далеки были они от народа и от русского бытия. Поэтому мои пламенные речи о том, что они даже не могли представить и прочувствовать, попросту вызывали у них скуку.

А предводители рабочих организаций вообще оказались бессердечными людьми. Как сказал один британский социалист, «Для моей партии объявить избирателям, что большевики угробили революцию, было бы катастрофой»; а Клиффорд Аллен, секретарь Независимой рабочей партии, заявил, что «...Эмма Гольдман — староверка, до сих пор верящая в Истину и провозглашающая ее». Он утверждал, что нет ничего важнее торговли с Россией, что для меня, познакомившейся с мистером Алленом в 1920 году в Петрограде (он прибыл в Россию в составе Британской рабочей миссии, и Саша был ее переводчиком в Москве) и впечатлённой его независимым характером, было удивительно: как можно на таком посту ставить бизнес выше человечности? Я признавала, что достаточно верю в свободу, чтобы позволить его партии превратиться в лавку, хотя сама отнюдь не лавочница; но связи между «торговлей с Россией» и замалчиванием преступных действий ЧК уловить не могла. Англия вела оживлённую торговлю с Романовыми, но свободолюбивые англичане частенько возмущались ужасами царизма, и не только на словах, но и на деле. Почему сейчас всё не так? Разве британское чувство справедливости и человечности настолько оглохло, что не слышит отчаянных воплей тысяч людей в советских темницах? Разве я сравниваю царя и большевиков? Так последние намного хуже — они куда безответственнее и безжалостнее. Однако мистер Аллен поставил точку в нашем споре: в конце концов, советское правительство является пролетарским, и его конечная цель — социализм. Он не одобряет всех методов диктатуры, но ни он, ни его партия не могут позволить себе присоединиться к кампании против большевиков, и это их общая точка зрения.

Из нескольких десятков людей, с которыми я вела подобные душещипательные беседы, по-настоящему прониклись моими рассказами лишь немногие. Среди них была и леди Уорвик, которая показалась мне искренне переживающей за Россию; всё шло к тому, что она сможет уговорить присоединиться к нам своих товарищей, или, по крайней мере, сделает это сама. Однако вскоре леди сообщила мне, что собрание по этому вопросу, назначенное у нее дома, нужно отложить: члены Рабочей партии попросили подождать, пока из России не вернется

делегации британских профсоюзов. Казалось, она боится, что любое ее движение вернёт на трон царя, и в этом страхе она, кажется, прожила всю жизнь, потому что больше я о ней ничего не слышала.

От профессора же Гарольда Ласки я впервые услышала, что всё происходящее есть возмездие анархистам от большевиков, с чем согласилась, прибавив, что не только они, но и их сводные братья-социалисты собственным примером показали несостоятельность марксистского государства лучше, чем любой довод анархистов: увиденное всегда убедительнее сказанного. Разумеется, я не сожалела о провале социалистов, но и не могла радоваться ему, постоянно видя перед собой трагедию России. Ах, если бы мне удалось поднять хотя бы рабочие организации и радикалов! Но до сих пор я не смогла продвинуться ни на шаг — кроме Ребекки Уэст и полковника Веджвуда, никто не озаботился российскими горестями; с таким безразличием я не сталкивалась и в Америке! Ласки считал, что даже самые радикальные элементы не пойдут против большевиков: слишком уж они восторгались революцией, чтобы теперь отгородиться от нее. Возможно, со временем мне удастся заинтересовать рабочие круги; он сделает для этого всё возможное — например, пригласит в следующее воскресенье своих друзей послушать меня после обеда; так что там, где, казалось бы, осталась лишь безнадежная пустошь, вновь появлялись ростки надежды.

Я не могла говорить о России хладнокровно, но сейчас старалась подавить в себе кипевшие чувства, и потому старалась быть убедительной и непредвзятой. Меня спрашивали, есть ли в России партия, более либеральная, чем большевики, которой можно будет доверить страну после свержения советского режима, на что я довольно резко отвечала, что не желаю свержения коммунистического правительства и не стану помогать тем, кто вознамерился бы совершить подобный переворот: столь масштабные изменения должны быть делом рук не какой-либо партии, но пробуждённого сознания масс. Так было в марте и октябре 1917 года, и так должно быть и впредь, хотя, вероятно, не в ближайшем будущем: диктатура опорочила идеалы социализма, народ истощен долгими междоусобицами, и потому потребуются немало времени, чтобы вновь разжечь в нём революционный пламя. Кроме того, мне безразлично, кто именно руководит, а точнее, правит Россией — гораздо важнее, как обращаются с политическими заложниками кремлевских деспотов; я полагала, что радикально настроенные круги Соединенных Штатов и Европы могли бы повлиять на Советы, как влияли они на Романовых, и тем самым умерить их самодурство, прекратить преследование за одни лишь взгляды, бессудное заключение и массовые казни в подвалах ЧК. Разве эти простые требования не стоят того, чтобы за них бороться? Да, отвечали мне, но ведь это может привести к возвращению самодержавия!

Куда бы я ни ткнулась, к кому бы ни обратилась, везде ответом было либо уклончивое равнодушие, либо вообще молчание. Это было ужасно, и в конце концов, осознав тщетность своих усилий, я решила больше не тратить время на так называемых политиков из Рабочей партии и погрязших в социализме дамочек; что ж, анархисты всегда работали без поддержки сильных мира сего, придётся поступить так и сейчас — лучше небольшие митинги под собственными лозунгами и без обязательств перед кем-либо, чем поддержка буржуазии. С десяток наших были согласны идти за мной, и вскоре мы сняли зал в Саус-Плейс — здесь и должен был пройти наш митинг, подобно прежним нашим встречам времён Англо-бурской войны. Мне вспомнилось, как в 1900 году здесь выступала и я;

председательствовал тогда Том Манн, а с трибуны то и дело звучали голоса, требовавшие свободы и справедливости. Увы, с тех пор многое изменилось: Манн переметнулся под другое крылышко, а я, по-прежнему изгой для капиталистов, стала таковым и в коммунистической среде...

Пришёл ответ от профессора Ласки: его друзья полагают, что НРП стоит воздержаться от нападков на Советскую Россию, и даже Бертран Рассел, осуждающий советские методы, сомневается в благоразумности моего подхода. Многие вообще думают, что я не столько хочу облегчить жизнь политзаклужённым, сколько покритиковать большевиков, и не будут поддерживать такую яркую противницу России. Кое-кто считает, что инициатива должна исходить от профсоюзов, а не каких-то иностранцев; в общем, заключил профессор, лидеры Рабочей партии не станут делать ничего, что может поссорить их с Советами. Сам же он согласен с Расселом: кампания в защиту политических не должна проходить под антибольшевистскими лозунгами, как это вижу я.

То, что сказал Бертран Рассел, меня очень огорчило: недавно мы обстоятельно переговорили, и, хотя он не обещал помощи, сказав, что сначала должен подумать, но и никак не дал понять, что не желает связываться с открытой анархисткой. Обескураживало само стремление столь видного критика государства, человека, который по духовным убеждениям был истинным анархистом, избегать сотрудничества с анархисткой; и Ласки, храбрый проповедник индивидуализма, туда же!

Тем временем из России вернулась делегация профсоюзов, вся под впечатлением от увиденных, точнее, показанных им чудес. Они восторженно живописали великолепные достижения советского строя в своей Daily Herald и на многочисленных митингах. Еще бы, ведь они провели в России целых шесть недель — разве кто-то знал об этой стране больше их? Разве мог кто-либо говорить о ней с большим знанием дела?

Я, наконец, признала, что поднять британцев у меня не вышло; зато получилось повлиять на нескольких пребывающих здесь американцев — меня пригласили выступить в Оксфорде перед стипендиатами Родса. Всё прошло великолепно, и не столько благодаря прекрасной организации самой встречи (хотя «банда Кулиджа 101» всячески пыталась ей помешать), сколько из-за радушия профессора кафедры американской истории Морисона и десятка парней, ставших вскоре моими друзьями.

Это был наш первый успех после четырех месяцев бесплодных трудов, и с этих пор к нам повернулась удача. Среди нас появлялись новые лица — например, Давид Соскис, известный русский революционер, когда-то редактор «Свободной России», его жена, писательница, сестра Форда Мэдкса Брауна, и двое их сыновей, живые и любознательные юноши. Самоотверженно трудились и старые товарищи — Дорис Жук, Уильям Уэсс, А. Сагг, Том Килл, Уильям Оуэн; так что никто не удивился тому, что на митинге в Саус-Плейс яблоку негде было упасть, хотя шёл проливной дождь, а за вход мы брали плату. Впрочем, у нас были опытный председатель — всё тот же полковник Веджвуд, внушительного вида студенты-американцы, которых мы вместе с несколькими рабочими пригласили для поддержания порядка, и мое ораторское искусство.

Всего за один вечер, без чьей-либо помощи, мы сумели не только покрыть расходы на митинг, но даже собрать немного денег, которые было решено послать в Берлинский фонд поддержки политзаключенных. Тома Свитлава избрали казначеем, А. Сага — секретарем, и новообразованный комитет стал работать на постоянной основе. Да, людей в нём насчитывалось немного, но цели перед собой они ставили серьезные: там были и серия лекций о России, и сбор средств, и распространение бюллетеня Объединенного комитета защиты российских заключенных революционеров, который издавался в Берлине на английском языке под редакцией Саши. В нём были сведения о политических репрессиях, а также письма заключенных и ссыльных, которые Саше и его соратникам нелегально доставляли из России.

Однако вскоре я оказалась между двух огней — я не надеялась быть услышанной Независимой рабочей партией или профсоюзами, но и не собиралась выступать под крылом консерваторов, то и дело приглашавших меня прочесть лекцию о России. Мне приходилось отвергать эти приглашения: то нужно было выступать в каком-то закрытом клубе, а то и вообще в Женской гильдии Британской империи в Пейсли. Последнее сначала показалось мне весьма любопытным, но когда я узнала, что эти женщины выступают за «Бога, Короля и Родину», немедленно написала им, что, как анархистка, отрицаю общественный порядок, который одних возносит на трон, а других, коих неизмеримо больше, ввергает в нищету.

При этом я старалась быть справедливой и по возможности не отказывать никому, невзирая на политические или религиозные воззрения. В Соединенных Штатах, например, я выступала как перед докерами, так и перед миллионерами, читала лекции и рабочей бедноте, и светским дамам, говорила перед людьми в пивных, в салонах и даже в шахтах на глубине сотен футов под землей, произнося свои речи и с кафедр проповедников, и с ящиков на митингах. Я готова рассуждать о России с нашей сцены, и не суть важно, кто придет меня слушать, а вот в Палате лордов, в Виндзорском замке или перед Консервативной партией я буду рада выступить на любую другую тему, но о Советах — увольте.

Были определённые сомнения в том, что мы сумеем достучаться до широкой публики, однако члены комитета не растерялись: они предложили попробовать давать лекции на английском, а группа Arbeiter Freund вызвалась организовать в Ист-Энде митинги на идише. Вдохновившись этой идеей, я три месяца проехала с одной окраины Лондона на другую — в дождь и слякоть, в туман и холод; даже в Америке возделывать новую почву было не так трудно. Да и итог получился так себе, хотя комитет настаивал, что овчинка стоила выделки — ведь расходы покрывались, в Фонд политических заключенных передавались какие-то деньги, а о том, как живётся в большевистском государстве, узнавало всё больше и больше народу.

В поездке по северу Англии и южном Уэльсу не случилось ничего особенного: да, там жили впечатлительные люди, принимающие чужую беду близко к сердцу, однако далеко не всегда на них можно было полагаться. Впрочем, после знаменитой английской невозмутимости, граничащей с холодностью, к энергичным ватагам уэльсцев я выходила с радостью. Гораздо сложнее было не поднять рабочих, а заставить их хотя бы ненадолго забыть ужасающую нищету, в которой они жили: многие сидели без работы, а те, кому

повезло, вкалывали за такие гроши. С трудом верилось, что люди, живущие в таком мраке, могут вообще прийти на митинг, а уж то, что они все-таки проникались судьбой своих российских собратьев, было и вовсе необычайным. Глядя на их бледные, измученные лица, я с болью в сердце ощущала, насколько мне живется лучше, чем этим работягам, а призывы пожертвовать на российских политзаключённых к тем, кто сам нуждался в помощи, заставляли меня устыдиться. В самом деле, ведь если бы я могла вовлечь их в борьбу, убедить в том, что лишь анархизм может преобразить общество и обеспечить их благополучие, это попрошайничество было бы хоть как-то оправдано.

Вернувшись в Лондон, я поняла, что совершенно напрасно молчу о вопиющем положении английских трудящихся: во-первых, это никоим образом не оправдывало творившееся в России, а во-вторых, кричать на всех углах о диктатуре и не замечать то, что происходит вокруг, было просто невыносимо. Во мне снова проснулись внутренние противоречия: я больше не могла бороться с Советами, не высказываясь по вопросу в целом, а поскольку в Англии (как и в остальных странах) мне было запрещено об этом говорить, нужно было прекращать и рассуждения о большевистском государстве. К тому же надо мной довлело понимание того, что приют мне предоставлен лишь по причине наших с Россией взаимоотношений — сомнительное и малопривлекательное гостеприимство, которое не могло длиться бесконечно.

Все, однако, уговаривали меня остаться и продолжить работу: по мнению товарищей, у меня не было оснований молчать о политзаключённых России лишь потому, что не могу бороться вместе с народом Англии. Напротив, я была первой анархисткой, вернувшейся из Страны Советов, а значит, могла объяснить всей Великобритании, какое отношение большевики имеют к Революции. Последнее было очень важно: знать об этом было уместно повсюду, но в Англии, где многие рабочие лидеры работали на Москву, это было просто необходимо. В южном Уэльсе, например, некоторые лидеры шахтерских профсоюзов уже всю трезвонили о том, какие чудеса творятся в первом коммунистическом государстве, и эти семена лжи падали в неводеланную почву, готовую взрастить что угодно — искренняя вера этих людей в светлое будущее была по-детски наивной и трогательной. Пролетарии до мозга костей, в жизни которых не было ни красот, ни радостей, они цеплялись за эти идеалы словно за соломинку, пестуя в себе надежды на новый и свободный мир.

Но были и те, кто тяготел к иному. Джеймс Колтон, и в шестьдесят пять лет вынужденный зарабатывать на хлеб насущный в шахте, посвятил немалую часть прожитых лет нашей идее и с гордостью признавался, что, как и я, стал анархистом после казни чикагских мучеников. Не имея возможности учиться, он, тем не менее, обладал острым умом и ораторским талантом, щедро пустив свои дарования на пользу анархизму и вдохновляя запалом и любовью к делу жизни юных единомышленников.

То, что о поездке в Россию написали профсоюзные вожаки, в том числе Джон Тёрнер, было не чем иным, как явной попыткой обелить советский режим. Их отчёт был настолько подробен, что, казалось, авторы провели в России несколько лет, изъездив ее вдоль и поперёк, хотя на самом деле они пробыли там всего полтора месяца, из которых больше недели пришлось на всяческие переезды — Джон сам мне об этом рассказал. Ясное дело, в этом документе не было их собственных мыслей; вместо этого народу подсовывали

подборку изготовленных большевиками документов. Впрочем, упрекать этих людей было бессмысленно: во-первых, большинство из них поддерживало Советы и до поездки, а во-вторых, наживка, на которую они попались, было подготовлена со знанием дела. Один из переводчиков британской делегации в царские времена был морским атташе британского посольства, а второй долго служил по дипломатической линии; прежде им было плевать на самодержавие в интересах своего правительства, теперь же они делали это ради НРП. Что ж, в этом состояла их работа, и я не собиралась с ними спорить.

А вот подпись Джона Тёрнера под этим, с позволения сказать, отчётом меня, признаться, ошеломила: в своей статье в *Foreign Affairs*, в интервью, которое он дал *New York Forward*, и в своей речи на нашем митинге он говорил совсем иное. Я не преминула написать ему, что он разочаровал меня и других товарищей, и он ответил почти так же, как Лансбери Саше в 1920 году: он-де может показать мне «сколько угодно бедняков, попрошаек и голодающих в Лондоне». Я не могла понять связи между нищетой в Англии и бравурными заявлениями, что трудящиеся России политически ограничены, но в экономическом плане свободны и счастливы: ведь и сам Тернер, и остальные делегаты знали, что это неправда — как в отношении британцев, так и касательно русских.

Этот обман необходимо было развенчать, и я предложила написать соответствующий ответ, что комитетом и было поручено мне совместно с Дорис Жук. В изданной вскоре брошюре мы всего лишь поставили взятые из пресловутого отчета абзацы рядом с соответствующими цитатами из советской прессы, выходявшей во время визита британских делегатов — без каких-либо комментариев, чтобы большевики сами опровергли эти нелепицы. Вместо этого они накинулись на нас: дескать, мы берём куски в поддельных «Известиях» и «Правде», которые контрреволюционеры печатают за границей. Это было уже не просто глупо — это уже доходило до абсурда, и тем обиднее было, что полковник Джосайя Веджвуд, этот истовый бунтарь, поверил в это и написал мне, что отказывается нести ответственность за нашу брошюру и просит вычеркнуть его имя из списка членов комитета. Увы, он, как и многие другие, в том числе и мой бывший товарищ Джон Тёрнер, шли проторенным путём, не имея собственного мнения и отказываясь выступить против защитников коммунистов.

Единственным исключением была Ребекка Уэст, не позволявшая никому и ничему влиять на собственное мнение и поступки. Несмотря на чрезвычайную занятость, она всё же нашла время познакомить меня со своими друзьями и литературным агентом, чтобы издать в Англии «Мое разочарование в России» с ее предисловием, а заодно устроить мне несколько лекций; и это при том, что Ребекка была человеком искусства, а не политиком!

Познакомилась я и с удивительным Чарльзом Дэниэлом 102, который, будучи издателем, не считал бизнес превыше всего; его больше волновали идеи и литературные достоинства того, что он издавал, нежели деньги, которые это могло ему принести. Я даже спросила, не старовёр ли он, предпочитающий правду бизнесу, добавив, что меня обвиняли в подобном грехе; Впрочем, продолжала я, наивно было бы ожидать от НРП больше, чем от любой другой партии: все они, словно чудовища, могут сбрасывать шкуру, но менять свою сущность — никогда.

Увы, человек стареет, но не умнеет, иначе я не удивлялась бы рассуждениям радикалов о жизни и смерти тысяч людей сквозь призму торговли. Вот и мистер Дэниэл оказался не мудрее моего — он взялся напечатать английское издание «Моего разочарования в России», понимая, что это принесёт ему разве что славу, но никак не прибыль. К тому времени книга уже вышла в Швеции, причём в полном объеме, но ничто не могло порадовать меня больше появившегося в Англии однотомника с предисловием Ребекки Уэст, особенно после того, как с этой работой столь по-свински обошлись в Америке.

Новая жизнь «Моего разочарования», статьи в New York World, перепечатанные в лондонской Freedom, материалы для Westminster Gazette и Weekly News вкупе с тем, что появлялось в London Times и некоторых провинциальных изданиях, передовица в Daily News, наконец, наша брошюра, опровергающая вымысел профсоюзных делегатов... Этого было более чем достаточно, если, разумеется, читатель не был нарочито слеп и глух.

Саша тоже не бездействовал: нью-йоркское издательство «Бони и Лайврайт» издало его «Большевистский миф», вырезав, правда, из него заключительную, самую важную главу, посчитав ее «скучной», и, чтобы она не пропала, Саша за свой счет издал ее в виде отдельной брошюры под тем же названием. Копии этой книги появились и в Англии, причем по необоснованно завышенной цене, а также без ведома и согласия автора, не получавшего с этого ни цента. Зато критика приняла труд моего друга на ура, единодушно признавая «Миф» убедительной работой первоклассного литературного качества.

Кроме того, у Саши собралась обширная коллекция документов о репрессиях советской диктатуры — собственноручно записанные истории и письменные свидетельства множества политзаключенных, сбежавших или высланных из России. Вместе с подобного рода материалами, собранными Генри Алсбергом и Исааком Доном Левиным, всё это представляло собой коллективное обвинение большевиков во всеобщем терроре. Собрав его воедино, Алсберг и Левин заручились поддержкой известных всему миру людей и вместе с Международным комитетом политических заключенных опубликовали в Нью-Йорке в виде книги под названием «Письма из русских тюрем».

Мы сдержали обещание, данное нашим несчастным товарищам в России: теперь о них, и вообще обо всех, кто подвергался гонениям, знали повсюду. Мы открыли миру глаза на пропасть между большевиками и Октябрём, и непременно будем делать это и впредь — Саша посредством бюллетеня Объединенного комитета защиты политических заключенных, а я при любой возможности. Теперь же пришло время обратиться к другим делам: восемь месяцев вращаясь исключительно вокруг российского вопроса, я чувствовала, что настала пора искать другие пути, тем паче, что всю жизнь надеяться на помощь и поддержку семьи и друзей некрасиво. Да, меня любят, понимают и всячески стараются облегчить мое существование — например, Стюарт Керр присылал мне что-нибудь каждый месяц; но теперь я могу обеспечить себе существование, например, лекциями о театре... В общем, я решила временно прекратить деятельность, связанную с Россией.

Почему я подумала о таком, мягко говоря, неожиданном направлении? Вскоре после приезда в Англию велением Фитци я стала представительницей ее ненаглядного Провинстаунского драматического театра. Это давало мне возможность побывать в

некоторых британских храмах сцены, и то, что я там увидело, не привело меня в восторг. Здешние мои друзья неплохо отзывались о Бирмингемском театре, единственной, по общему мнению, достойной упоминания труппе, выросшей из любительских представлений благодаря таланту и щедрости ее создателя Бэрри Джексона.

Поначалу я скептически отнеслась к похвалам британских интеллектуалов, но когда бирмингемцы показали в Лондоне своих «Цезаря и Клеопатру», я немедленно вспомнила о поручении Фитци. Так меня не принимали ни в одном театре столицы, а сам спектакль был превосходен — таких декораций, такого духа и сыгранности актёров я не видела со времен Станиславского, причём работы русского классика были, пожалуй, даже не столь яркими. Седрик Хардвик, игравший Цезаря, превзошел Форбса-Робертсона, виденного мной в Нью-Йорке — ему удалось показать старого римлянина чрезвычайно человечным и достаточно остроумным, чтобы смеяться над собой. Очень изящно смотрелась и Клеопатра, мисс Гвен Франгкон-Дэйвис, так что впервые за проведенные в Англии восемь месяцев уныние покинуло мою душу; ну, а ближайшее знакомство с Бэрри Джексоном, а также Уолтером Пикоком, директором мистера Джексона Баксом Мэтьюсом и другими членами труппы напомнило мне о том, что по нескольким людям нельзя судить о целом народе.

Бирмингемцы знали, кто я такая — иностранка, которой никак не удаётся обосноваться в их стране, и для них этого было достаточно, чтобы немедленно предложить мне помощь. Возможность потерять зрителя или несогласие с моими взглядами не были для них препятствием — их интересовала прежде всего личность, такой же, как и они, человек, волею судеб оказавшийся в чужой стране.

Они с радостью принимали меня на каждом спектакле и немало поспособствовали тому, чтобы я начала давать лекции. Мистер Пикок познакомил меня с множеством нужных людей, среди которых был Джеффри Уитворт, почетный секретарь Лиги британской драмы, мистер Мэтьюс ввёл меня в общество бирмингемских театралов, а сам Бэрри Джексон, будучи одним из самых занятых людей в Лондоне, всегда находил для меня время, когда бы я к нему ни пришла. Вскоре я уже работала в любезно предоставленном мне мистером Уитвортом кабинете, а к моим услугам были его помощник, его библиотека и все входящие в Лигу общества. Кроме того, меня пригласили выступить на конференции Лиги британской драмы, которая тоже должна была состояться в Бирмингеме.

И вот я в чудесном зале рассказываю собравшимся о русском театре, о разных студиях, о Камерном, о Мейерхольде; все слушают меня с интересом, никаких споров, никакой ненависти — наоборот, все открыты и радушны, вопросы глубоки и осмысленны, а разговоры в перерывах непринуждённы... Это воодушевляло, и теперь я сожалела уже о том, что узнала всё это слишком поздно.

Несмотря на то, что лекции в Англии организывают обычно за полгода, мне всё же удалось застолбить семь встреч на раннюю осень — в Манчестере, Ливерпуле, Биркенхеде, Бате и Бристоле; там же ряд лекций планировали провести и наши товарищи. Созданный мною в Лондоне кружок по изучению драмы готовил несколько лекций о зарождении и развитии русского театра, а анархисты из лондонского Ист-Энда просили сделать такую же подборку на идиш; в общем, я была в ожидании работы, которая мне всегда была по душе.

В самом начале моего пребывания в Англии, когда всё казалось совсем мрачным, Стелла написала мне, что Лондон обладает холодной красотой, и для того, чтобы понять секрет его очарования, нужно расположить его к себе. «Да кому интересна столь холодная красотка?» — ответила тогда я; но с тех пор прошло уже девять месяцев... Пробудила ли я чувства в его сердце? Сейчас он поистине прекрасен — всюду зелень, много цветов и солнца, как будто никогда больше не будет траурного неба и слёз ручьями; жалко было даже лишней минуты, проведенной в помещении — ведь великолепие вокруг так преходяще!

Однако теперь мне требовалось не менее шести часов в день, чтобы разобраться в сокровищах, которые я откопала в Британском музее, забравшись туда в поисках материалов по истории русского театра. Собственно, это и было одной из целей моего приезда в Англию, но время на это появилось лишь сейчас, удачно совпав с необходимостью и желанием это делать. Чем дольше я работала в музее, тем больше узнавала об устройстве сцены, старых пьесах, декорациях и костюмах, переносясь вместе со всем этим в другие эмпиреи: теперь меня интересовало творчество драматургов разных эпох, их письма, их чувства и ощущения от России. Это так захватывало, так поглощало меня, что иногда служителям даже приходилось напоминать мне о том, что музей закрывается на ночь.

С самого начала было понятно, что даже часть этого материала не уместится не то что в шести — даже в дюжине лекций: нужна полновесная книга, подобно тем, что создавали о русской литературе такие глыбы, как Пётр Кропоткин или профессор Винер. В поисках решения я подумала, что лекции о драме как раз и могут стать введением для обширного труда о драме, который мне предстоит написать.

Сбылась и моя давняя мечта — двадцать пять лет я ждала встреч с Хэвлоком Эллисом и Эдвардом Карпентером, и вот я в лондонской квартире Эллиса. Да, мы поговорили всего полчаса, да и то оба запинаясь через слово, но что это значило в сравнении с каждой строкой его чудесных произведений, созданных удивительным человеком и возвышенным мечтателем? Зато с Карпентером в его скромном домике в Гилдфорде я провела почти полдня; ему было уже почти восемьдесят, он был слаб и немощен, а его одежда выглядела потрепанной. Однако держался он царственно, и жесты его были величественны и грациозны одновременно; жаль только, что в основном говорил его друг Джордж, который только и стрекотал о книге, которую «мы с Эдвардом написали в Испании», причем сам Эдвард на это снисходительно улыбался с мудростью мыслителя. Я попыталась сказать ему, как много для меня значили его книги — «К демократии», «Крылья ангела», «Уолт Уитмен», но он прервал меня, мягко накрыв мою руку своей, и попросил рассказать об Александре Беркмане. Он прочёл его «Тюремные воспоминания» и считает их «глубоким исследованием» тюремной психологии и человеческих пороков, и восхищается исключительной простотой, с которой автор описывает страдания самого Саши и девушки из той книги. О, Хэвлок Эллис! Ах, Эдвард Карпентер! С вами, исполинами разума и духа, моё лето стало богаче и счастливее!

Кроме моего исследования, было еще много всего интересного. Ненадолго приезжала Фитци, а через нее я познакомилась с Полем и Эсси Робсонами, а также с несколькими ее приятелями из Провинстаунского театра — они прибыли в Лондон ставить «Императора Джонса» с Полем в главной роли. Эсси была восхитительна, а Поль очаровал буквально всех.

Впервые я услышала, как он поет духовные гимны, на вечеринке у моей американской подруги Эстель Хили, и поняла: ни одно, даже самое восторженное слово о его пении не отражает всю красоту его голоса. Да и человеком Поль был во всех отношениях приятным, совершенно простым и искренним, как ребенок; и если у него было настроение, он никогда не отказывался петь, сколько бы человек его ни слушало. Робсонам же пришлось по душе моя стряпня, особенно кофе, так что у нас было множество возможностей для обмена похвалами, а иногда мы объединялись: я готовила ужин для гостей, а Поль помогал мне своим великолепным голосом.

Да, это лето было действительно богато событиями; теперь же оно подходило к концу. Друзья начали разъезжаться, а меня ожидала любимая работа, так что я не страшилась наступающей осени. Но к декабрю запас хорошего настроения иссяк, и пополнить его в преддверии лондонской зимы было нечем. Рискованная затея с Лигой театралов закончилась более-менее успешно: ливерпульское и биркенхедское общества порадовали разнообразием своих участников, прочие же состояли исключительно из среднего класса, безразличного к драме и ее ценности. Тем не менее, опыт можно было считать удачным, и я смогла бы закрепиться в этой нише, если бы стала чуть более известной — здесь на это требовались год-два, не более; жаль только, что у меня не было уже ни сил, ни средств, ни желания.

А вот лекции в Лондоне и Бристоле вновь подтвердили правдивость британской поговорки «в Англии так не принято». Неудача в столице была особенно печальна — ведь всё начиналось так многообещающе! Местом проведения встреч с публикой был определён Дом Китса, вычурно очаровательный и прямо-таки исполненный духа великого английского поэта. Секретарем была Клэр Фаулер Шоун, талантливая устроительница подобных мероприятий и сама потрясающая исполнительница, имевшая широкую известность в рабочих кругах; к тому же ей помогала целая дюжина друзей. Рецензия Ребекки Уэст и Фрэнка Харриса на мою работу о драме разошлась тысячами копий, в председателях у нас были Бэрри Джексон, Джеффри Уитворт, А. Филмер и другие известные в театральном мире люди, и всё же посещаемость была низкой, а прибыль едва покрыла расходы. Правда, публика была чрезвычайно высококобой, но единственным удовольствием за целых полгода оказались лишь это да, пожалуй, радость от моих поисков и находок в Британском музее.

Три недели в Бристоле прошли не лучше, и вторая моя попытка закрепиться в Великобритании также не увенчалась успехом. Туманы и влажность третировали меня, как им вздумается, и я в очередной раз валялась в ознобе и лихорадке, когда Фрэнк и Нелли Харрисы пригласили меня к себе в Ниццу. В июне я как раз вышла замуж за старого бунтаря Джеймса Колтона, и теперь, будучи британкой, я сделала то, что делают большинство местных жителей, когда наскребут достаточно денег — сбежала от климата новой родины. Журнал *American Mercury* прислал мне чек за очерк об Иоганне Мосте, так что я была вполне способна добраться до юга Франции за собственный счёт.

Харрисы были прекрасными людьми, и изо всех сил старались окружить меня заботой и вниманием, дабы ко мне вернулись здоровье и бодрость духа. До этого мы часто виделись с Фрэнком, но только сейчас я разглядела в нём нечто большее, чем просто художника — человека, умудренного опытом, и интересного собеседника. Теперь, у него дома, когда он

не скрывал искренней человечности под внешней бравадой, я сумела понять его. Больше всего он боялся ошибиться в степени своего таланта — действительно ли он так хорош, как говорят о нем все, и прежде всего он сам? Будут ли жить его работы после его смерти? Нет, Фрэнк Харрис не обманывался своими причудами, и когда начинал изливать душу, становился мне еще ближе. Взгляды наши разнились, особенно в вопросах политики, мы часто спорили, но всегда знали — как бы мы ни разошлись во мнениях, наша дружба не ослабнет.

Годом ранее в Париже я оценила миловидность и очарование Нелли Харрис; сейчас же вся она раскрылась передо мной, как цветок. Мне доводилось встречать мегер, по недоразумению ставших музами людей искусства; я насмотрелась на их злобу, которой они дышали на друзей собственных мужей, на их ревность к поклонницам, но при этом, конечно же, знала, насколько коварны могут быть мои сестры, когда дело касается жен их кумиров — я всегда им сочувствовала, потому что для меня быть супругой художника означало сущее мучение. Но о Нелли такого и подумать было нельзя: ни словом, ни взглядом она ни разу не дала понять своего истинного отношения к поклонникам и особенно поклонницам Фрэнка. В общем, она была ангелом, широкой и любящей душой, неспособной к жестокости, но главное — она была не тенью известного мужа, но личностью, внимательно наблюдающей за людьми и событиями, лучше Фрэнка понимающей человеческую природу.

Мне ужасно не хотелось покинуть друзей, но нужно возвращаться в Лондон, а до этого заехать в Париж: в Национальной библиотеке было довольно много материала по интересующей меня теме. В Англии же меня ждали несколько лекций для ливерпульского общества театралов о передвижных труппах Америки. Я уже выступала в этом городе с докладом о произведениях Юджина О'Нилла, и одна журналистка не преминула съязвить, что «...для анархистки нежные руки и рыжее манто Э.Г. неприличны». Но зрителям, надо полагать, понравились мои выступления, иначе они не стали бы меня приглашать снова.

Я также согласилась прочитать еще один курс лекций о европейских и американских пьесах с билетами по шиллингу. Зал, в котором это должно было происходить, слыл популярным, и мои друзья были уверены, что он будет полон, однако в назначенный день толпы не наблюдалось: британскую публику не интересовали ни Стриндберг, ни немецкие экспрессионисты, ни Юджин О'Нилл или Сьюзан Гласпелл, если о них говорили без приложения к какой-нибудь партии — «в Англии так не принято». Я вынуждена была смириться с тем, что проломить это тупое упорство можно лет за пять, которых у меня не было.

Назревали трудные времена: сводить концы с концами было уже очень тяжело. До высылки я никогда не задумывалась об этом, полагая, что смогу запросто заработать на жизнь лишь голосом да пером; но с тех пор я всё время боялась попасть в зависимость, и после поездки по южному Уэльсу и северным провинциям Англии этот страх стал еще сильнее. Брать деньги с получающих гроши шахтеров и ткачей я не могла — скорее, сама нанялась бы в кухарки или горничные, поэтому мне нужно было самой оплачивать все расходы. Лекции о театре тоже не окупались, и я уже не видела возможности продолжать свою деятельность в Англии; как-то один мой друг в шутку сравнил меня с кошкой: «выбрось, мол, ее с шестого этажа, и она приземлится на лапы», но после последней неудачи я действительно

чувствовала себя так, словно меня сбросили с крыши Вулворт-билдинг 103.

Однако на лапы я всё же встала — этому поспособствовали сразу два события: издание задуманной мной книги «Рождение и развитие русской драмы» и поездка по Канаде, в которую меня пригласили тамошние анархисты. Один товарищ из Нью-Йорка пообещал покрыть расходы, поэтому я собиралась поехать в какой-нибудь уютный городок во Франции и посвятить лето написанию книги, а осенью отправиться в Канаду. Я посчитала, что того, что я получу, хватит на ближайшие год-два, и на всякий случай сразу забронировала билеты в Канаду.

На мысль о книге меня натолкнул мой издатель и в некотором роде покровитель Ч. Дэниэл, живо интересовавшийся моими лекциями о русских драматургах. Он даже прислал стенографиста, чтобы дословно их записать, и обнадежил обещанием издать книгу как можно скорее. Кроме «Моего разочарования...», он напечатал и английское издание «Тюремных воспоминаний анархиста» Александра Беркмана, предисловие к которому написал Эдвард Карпентер, а также привёз копии «Писем из русских тюрем». Правда, ни одно из этих начинаний не принесло ему денег, но это ничуть его не обескуражило.

Я уже собиралась уезжать из Лондона, как объявили всеобщую забастовку. Конечно же, я не имела права даже думать о том, чтобы бежать от события такой невероятной важности; будут нужны люди, так что я должна остаться и предложить свою помощь. По идее, связать меня со стачечным комитетом мог Джон Тёрнер, и я тут же написала ему: мол, готова к любой роли в великой борьбе — могу собирать для бастующих деньги, присматривать за детьми или кормить их самих, в общем, готова делать что угодно, лишь бы помогать простым людям.

Джон обрадовался: это, сказал он, разрушит предрассудки, порождённые в профсоюзных кругах моей антисоветской позицией, и покажет, что анархисты не только строят теории, но и способны действовать, потому что готовы к любым трудностям. Он обещал передать мое послание стачкому и связать нас напрямую. Прождав два дня и не получив ни слова в ответ ни из профсоюза, ни от самого Джона, на третий день я сама пошла к нему. Он сказал, что помощи не требуется: всё необходимое якобы обеспечили профсоюзы, но эта отговорка была неубедительна — просто организаторы забастовки боялись того, что все узнают, будто с ней как-то связана анархистка Эмма Гольдман. Джон отказывался вслух признать мою правоту, но и не отрицал ее; в общем, повторялась старая история: столь любимая британцами централизация не оставляла места личным порывам.

Сидеть без дела было невыносимо — противостояние крепло, а вожаки бастующих совершали одну оплошность за другой; но и уехать я тоже не могла — поезда и суда вели штрейкбрехеры. Чуть легче мне становилось на улице — я разговаривала с людьми и видела, что их солидарность прекрасна, стойкость восхитительна, а пренебрежение тяготами, которые уже принесла забастовка, достойно самых лестных слов. Не менее поражало их чувство юмора и самообладание перед провокациями врага: по улицам грохотали броневики, юные хулиганы в военной форме, стоявшие по другую сторону баррикад, подначивали забастовщиков и насмехались над ними, а из роскошных автомобилей в их адрес раздавались оскорбления. Полностью стычек избежать не удалось, но в целом бастующие держались гордо и с достоинством, уверенные в правоте своего

дела. Всё это воодушевляло, но вместе с тем усугубляло мои переживания из-за собственной ненужности и невозможности помочь, и на десятый день забастовки, признаков окончания которой пока не наблюдалось, я решила улететь из Англии.

Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 21 апреля 2025 18:01:13

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 21 апреля 2025 18:01:26